





автопортрет  
на фоне  
русского  
манико

Вольф  
Вондрагек



INSPIRIA

Москва

УДК 821.112.2-31  
ББК 84(4Гем)-44  
В73

Wolf Wondratschek  
SELBSTBILD MIT RUSSISCHEM KLAVIER

© 2018 by Wolf Wondratschek  
© 2018 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin  
Published by arrangement with Gaeb & Eggers  
Literary Agency, Berlin

Перевод с немецкого *Екатерины Шукшиной*

**Вондрачек, Вольф.**

В73 Автопортрет на фоне русского пианино / Вольф Вондрачек; [перевод с немецкого Е. Шукшиной]. — Москва : Эксмо, 2025. — 256 с.

ISBN 978-5-04-197636-1

В венской кофейне анонимный рассказчик знакомится с русским пианистом Сувориным. Когда-то он был молодым и знаменитым, жил в Ленинграде, дружил с великими композиторами, но его жизнь отравили коммунизм и алкоголь. Рассказчик с восхищением слушает историю Суворина, потому что ему хорошо знакомо то, о чем он говорит. Чем чаще эти двое встречаются, тем труднее становится различить их голоса. Ко всему прочему, их знакомство оказывается неслучайным. Роман о творчестве, одиночестве и гениальности, а также о безрассудстве, с которым стоит принимать старость.

«Автопортрет на фоне русского пианино» — литературная соната, посвященная вечному вопросу о том, стоят ли красота, музыка и страсть тех жертв, на которые некоторые люди вынуждены идти ради них.

УДК 821.112.2-31  
ББК 84(4Гем)-44

© Шукшина Е., перевод на русский язык, 2025  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ISBN 978-5-04-197636-1

*Знает ли случай, чего хочет?*



# I

## Рукопожатие с покойником?

Кафе. Все столы заняты. Все анекдоты рассказаны. Все газеты прочитаны. И зарубежные, и наши. Официанты танцуют. Воздух как горящая сигара. За моим столом русский, в молодые годы — пианист, забытая знаменитость. Он смирился. Москва, Лондон, Вена. Все расстояния заключены в стихотворную строку, все пространства сплавлены в загадку. Я пытался добиться преобразования, сохраняя ясное сознание, но у меня ничего не получилось. В конце концов гостиничный номер помнишь лучше, чем концерты. Слишком крепкое рукопожатие. Красивые женщины — они стучат и, поскольку ошиблись, извиняются. Чемодан со сломанным замком. Эйфелева башня в тумане, два дня ничего не видно. И конечно, все понимали с самого начала: искусство ничего не может поделать с тем, что оно ничего не может.

Непостижимо, насколько бесполезным способен стать человек вроде меня, в итоге помещающийся в провале памяти, без обуви, без мечты. Его правая рука, некогда могучая лапа, поигрывает сигаретой. Курить врачи ему не разрешают. Сердце. Ему так и написали. Вы умрете. Именно этого я и хочу, отвечает он. И никакой музыки, ни одной ноты. Вот церковные колокола — да, как они звонили в деревнях моей родины, родины моих бабок и дедов, теток и дядьев. И летние каникулы, я их помню, длинные короткие недели. Пещеры, куда я и сунуться-то боялся. Куры, истекающие кровью в твоих руках. Ожидание грозы. Сбор веток для костра — запретного, разумеется; мужчина, проехавший мимо верхом, но не помешавший, — его полностью захватила песня, что он пел. Не нужно быть хорошим мальчиком и рано идти спать, разрешалось слушать истории взрослых. А когда ты засыпал со вкусом сладких лесных ягод во рту, кто-нибудь относил тебя в постель. Жизнь, полная счастья! Стоять босиком в тине. С деревьев прыгать в мягкое. Опять лезть наверх. И опять, опять — без конца! И, испытывая стыд, поглядывать на



женщин, молодых, сильных женщин, работавших в поле. Сколько мне было, когда появились уже не мальчишеские мысли? Ах да, поманили другие — дерзкие румяные девушки; они прятались! Я подбирал все, что находил, бросал и лениво шел дальше. Овечьи стада. Следы автомобильных колес на песке. Бродячие гадалки, молодые и старые, но так как будущее — бизнес неважный, они вдобавок приторговывали бусами и чудодейственными корешками. Первые белые и черные клавиши аккордеона. Голубые платочки, цвет любви. Приди, я думаю о тебе. А потом немцы. Денег они не брали, зато мыло и спички... Наступило умирание, и никто не мог этого объяснить. Живые пока старики перестали говорить. Кто уходил спать, потом не вставал. Пели, если еще пели, лишь мысленно, тайком. Перед образами давно не горели лампадки. Знак любви — греть друг другу руки. Из Ленинграда больше никто не уезжал и никто в него не приезжал. Город находился в плену у голода. Самой безопасной стала Сибирь, во как.

Я слушаю человека, с кем только что познакомился. Его выговор на чужом языке

странен, похож на звучащий карточный домик, хрупкий; он тщательно старается его оберегать, в том числе своим дыханием. Такое создается впечатление от поднимающихся в горку фраз. Есть и другая причина, почему так трудно понять, что он говорит: в голове у него все рассеивается и теряется. Он слышит трескающийся в каналах лед, выстрелы в медведей, фальшивые ноты, которые он, пребывая в необъяснимо скверном расположении духа, позволил себе в Париже. Целая наука не торопить его, думаю я.

После того как в стакан упал не замеченный им пепел с сигареты, он допивает воду, промокает рот салфеткой и смотрит на меня, как будто я дал умный ответ на его незадаанный вопрос.

Буду рад, говорит он. И дождь, наверно, пойдет, я всегда его любил. Долгий, наверно, дождь. И идти он, наверно, будет в темноту, в звезды. В Бога я не верю. Я верю по-другому, как верили раньше.

## II

### Мы не вправе жить?

Я договорился о встрече с русским стариком. Он предложил итальянский ресторан неподалеку от его дома.

Через стекло он выглядел как нищий. Усталый. Курил. Хотя кофе ему нельзя, заказал бодрящую чашечку. Нарушение запретов всегда стимулировало его жизненные силы. Мое сердце любит мои глупости. Не все, но эту любит, и парочку других; надеюсь, оно мне прощает. И по-прежнему бесперебойно отбивает такт. Иногда, правда, грозит остановиться. Хуже всего, рассказал он, было в Париже, когда между репетициями перед концертом он пошел на кладбище Монпарнас к могиле румынской пианистки Клары Хаскил. Она лежала там, а он стоял рядом и чувствовал себя ненужным. Она знала больше, чем я. А я не знал, что она знает.

Знал лишь, что знать это важно, а я не знал. Тайна, еще одна, когда говоришь о музыке. Слышишь что-то и не можешь объяснить — интересно. Сколько мы слышали музыки в нашей жизни, хорошей, прекрасной, великолепно исполненной! И все же! У него заболело сердце. С его преклонением перед ней не могло сравниться ничье из тех, кто когда-либо сидел за концертным фортепиано, но он держал его при себе. Увы, он ни разу не слышал ее игру на концертной сцене и, разумеется, не мог быть знаком с ней лично; но последнее даже не вызывало у него сожаления, так как он не нашел бы слов, выражающих его восхищение, а протянуть ей руку казалось дерзостью. Но из-за времени и исчисляемых в километрах расстояний они оставались друг для друга недостижимы. Когда Хаскил умерла — в Бельгии, хотя похоронили ее в Париже, — ему было пятнадцать, и он только приехал в Москву учиться. Кажется, она поскользнулась на лестнице и так и не оправилась после падения. Это произошло по невнимательности, чего она никогда не позволяла себе за пианино. Что тут скажешь? Мы не вправе жить?

В то время она много значила — исключительно для него, больше ни для кого из студентов. Когда он открыл для себя грамофонные записи Хаскил и заинтересовался ее жизнью — образованием, карьерой, программами, — изменилось все. С тех пор почти казалось, будто он любил ее, любил скромность, с какой она выходила к публике, величие этой скромности. Мог испытывать боль от того, какой малой решила она быть, как ей удалось, не предав музыки, избежать простоты. Музыка не комната, которую можно обклеить новыми обоями. Говорила ли она по-русски? Говорила ли вообще? Наверное, перед каждым выступлением у нее мерзли руки, становились слишком холодными, чтобы играть Моцарта, но тот их ей потом отогревал. Тогда ее жизнь населяли врачи, его — пока нет.

Да, вот еще, никогда не забуду, сказал Суворин и опять перенесся мыслями в Париж, в молодые годы своей жизни. Стоя у ее могилы, я заметил кошку; не обращая на меня ни малейшего внимания, даже ни разу не посмотрев в мою сторону, она растянулась на могильной плите, причем головой закрыла

дату смерти, как будто хотела обмануть мир, нет, скорее обвинить его в беззаконии, отменить смерть Клары Хаскил. Все остальное — имя, дату, место рождения — было видно. Странно, не находите?

Суворин теперь не давал концерты и не посещал их. Пианино до сих пор стоит в углу его сознания, он складывает туда фотографии. Как молоды они все когда-то были. Вечно одной ногой над пропастью, что еще долго после смерти Сталина могло означать ссылку, лагерь, да и конец всего. Чтобы стать мертвым, по крайней мере умирающим, много времени не требуется. Умираешь долго. Чего унывать, лучше за это выпить.

Торопящийся мимо официант остановился принять заказ.

Я больше не пью.

Официант заспешил дальше.

К сожалению, сказал он, сняв крошку табака с уголка рта. Нельзя. Ничего не поделаешь. Я пил с тех пор, как мне стало можно пить алкоголь. Тут не думаешь, просто пьешь. Я не совсем подхожу под описание патриота, не в политическом смысле, но

почему же не признаться, что мы к своим прегрешениям относимся снисходительнее прочих. В каждом интервью на вопрос об алкоголе в России я давал один и тот же ответ: Old Russian tradition<sup>1</sup>! Что переводили как: «Мы русские, мы пьем». Журналистам всегда было мало. Русские пьют, потому что они несчастны? Несчастливые коммунисты? Алкоголь помогает забыть о голоде? Может, на Запад едут, чтобы не стать горькими пьяницами? Чего они только не придумывали!

Нет, в самом деле! Я не справочная служба. Но благодаря приобретенной с годами ловкости парочку фраз на эту тему я, конечно же, сочинил. Например: Не верь тому, кто не пьет! Тех, кто пил тайком, мы жалели. Они обычно долго и не жили. Мы пьем иначе, чем аристократы. Довольствуемся стаканами. Нужно подойти к костру вплотную, чтобы тебя охватил огонь, понимаете? Такая защита от твоей огромной страны.

Когда я играл на пианино, все шло отлично, но что делать с руками в свободное вре-

---

<sup>1</sup> Старая русская традиция! (англ.). — Здесь и далее прим. пер.